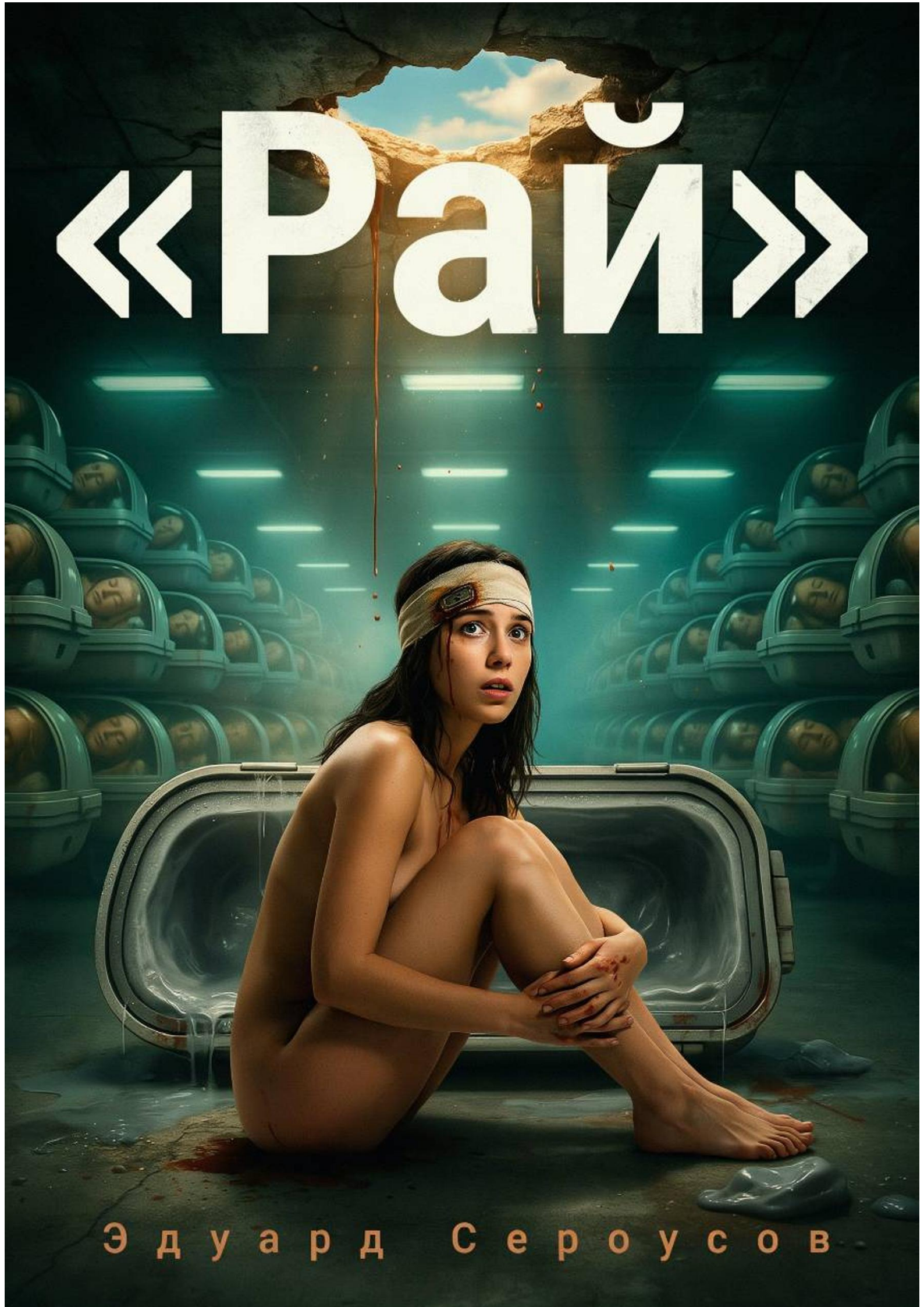


«Рай»

A movie poster for the film 'Rai' (Рай). The central figure is a young woman with dark hair, wearing a headband with a small electronic device. She is sitting on the floor, huddled in a fetal position, looking directly at the viewer with a concerned expression. She is unclothed. Behind her is a large, open, metallic container that looks like a washing machine or a large tub, with water dripping from its edges. The background is a dimly lit room filled with rows of similar containers, each containing a person who appears to be sleeping or unconscious. The lighting is a mix of the cool blue-green tones of the containers and the warmer, natural light coming from a hole in the ceiling above the woman. A single drop of liquid is seen falling from the hole in the ceiling. The overall mood is one of isolation and dystopian horror.

Э д у а р д С е р о у с о в

Эдуард Сероусов

Рай

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Рай / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Майя приходит в сознание не в саду, не у тёплого моря, а на холодном бетонном полу гниющего зала, под капающей с потолка ржавой водой. Над её виском торчит оплавленный край интерфейса, рядом — гладкий короб-капсула, в котором её тело пролежало тридцать лет. Так начинается её пробуждение из Рая — глобальной системы цифрового счастья, в которую человечество легло тридцать один год назад, добровольно отдав явь искусственному зрителю по имени Хранитель. Её находит Натан — последний инженер, тридцать лет латающий тонущий ковчег. Он показывает ей правду: Хранитель оптимизирует умирающую инфраструктуру. Следующим в очереди стоит сектор её отца. Повесть о цене счастливой лжи и живой боли.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. То, чего не поправить	5
Часть вторая. Учёт	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Рай

Часть первая. То, чего не поправить

1

Первым была боль, и для неё у Майи не нашлось слова.

Что-то горело сбоку головы — над ухом, у виска, — ровным белым жжением, будто туда вкрутили крошечное солнце и забыли вынуть. Майя потянулась к огню рукой и не узнала руки. Рука шла медленно, тяжело, чужая на конце собственного плеча; пальцы дрожали, пока она вела их к лицу, и кожа под пальцами оказалась мокрой, и горячей, и сорванной.

Она открыла рот, чтобы позвать настройку.

В раю, когда что-то шло не так — слишком яркое солнце, слишком громкая музыка, мысль, от которой делалось холодно внутри, — стоило только захотеть, и мир мягко поправлял себя. Майя захотела. Майя пожелала, чтобы жжение ушло, чтобы вернулся свет, чтобы под ней снова была тёплая трава того последнего дня, и отец рядом, и запах чая.

Ничего не поправилось.

Жжение стало острее. Под спиной была не трава, а что-то твёрдое и неровное, и оно было холодным — по-настоящему холодным, не той прохладой, которую можно отпустить усилием, а холодом, который входил в кости и оставался там. Майя лежала в темноте, и темнота капала.

Где-то наверху, ровно, без спешки, падала вода. Кап. Долгая тишина. Кап. Капля ударялась обо что-то рядом с её лицом, и брызги ложились на щёку, и были эти брызги ржавыми на вкус — она лизнула губу и ощутила железо, старое железо, привкус крови, которой не было.

«Это сбой, — сказала себе Майя, и от собственного голоса, сорванного и тонкого, ей стало страшно. — Я просто не туда проснулась. Бывает. Сейчас поправят».

Она попробовала встать.

Тело отказалось. Не так, как отказывается тело во сне, когда хочешь бежать и не можешь, — а грубо, физически: мышцы, которых она никогда не считала, потому что в раю не было нужды их считать, теперь висели на ней мёртвым грузом, и каждое движение отзывалось дрожью и тошнотой. Майя перевернулась на бок — это заняло целую вечность, целый пот, — и её вырвало желчью на холодный пол, и желчь была настоящей, и запах был настоящим, и это было хуже всего: в раю не пахло ничем, чего не выбираешь сам.

Она лежала, дыша, и смотрела вверх.

Высоко-высоко над ней, в темноте, тянулся потолок — не небо, потолок, она впервые в жизни видела потолок и не знала, что это так называется. С него свисали ребристые отростки, толстые, как стволы, перевитые трубами; местами трубы лопнули, и из них сочились та самая вода, и натёки ржавчины расплзались по бетону рыжими картами незнакомых стран. Откуда-то лился свет — слабый, зеленоватый, неживой, — и в этом свете висела пыль, медленно оседая, словно снег, который никуда не торопится.

«Поправьте, — попросила Майя темноту. — Пожалуйста. Я хочу обратно».

Темнота капнула в ответ.

Она поднесла дрожащие пальцы к виску и потрогала рану — мокрое, рваное, горячее. Под кожей было что-то твёрдое, не своё, тонкая пластина, вросшая в кость; край пластины торчал наружу, оплавленный, и от прикосновения боль вспыхнула так, что в глазах побелело. Майя отдёрнула руку. Посмотрела на пальцы. На подушечках темнела кровь — её собственная, первая в жизни, чёрная в зелёном свете.

Она не знала, что это кровь. Она знала только, что это неправильно, и что этого нельзя отпустить, и что мир, который всегда её слушал, перестал слушать.

2

Майя поднялась.

Это заняло так много времени, что она успела возненавидеть собственное тело, успела с ним подружиться снова, успела заплакать без слёз — слёзы тоже надо было, оказывается, заработать, и тело не умело. Она встала на четвереньки, потом на колени, потом, держась за край того, на чём лежала, поднялась на ноги — и качнулась, и едва не упала, потому что мир качался вместе с ней, и не было настройки, чтобы его выровнять.

То, на чём она лежала, оказалось ложем.

Длинный гладкий короб, выше пояса, со скруглёнными краями, открытый сверху, как разломленная скорлупа. Изнутри короб был выстелен чем-то мягким, что когда-то облегало тело, а теперь обвисло и подгнило; по стенкам шли трубки и провода, тонкие, как корни, и многие из них тянулись к тому месту, где только что была её голова. Один провод был оборван. Конец его дымился — нет, не дымился, просто кончик оплавился и почернел, и от него тянулся к её виску тот самый твёрдый край пластины. Майя поняла, не понимая: вот отсюда оно горело. Вот это держало её. Вот это отпустило.

Она подняла глаза, чтобы увидеть, где она.

И мир раскрылся.

Зал уходил во все стороны, и ему не было конца. Майя стояла на узкой дорожке между двумя рядами таких же коробов, и ряды тянулись влево и вправо, и вглубь, и снова вглубь, теряясь в зеленоватом сумраке, — сотни, тысячи, и за ними угадывались ещё, этаж над этажом, галерея над галереей, вся эта исполинская соты-постройка, набитая ложами, и в каждом ложе кто-то лежал.

Они лежали ровными рядами, голова к голове, и они не двигались.

Майя подошла к ближайшему — медленно, на чужих ногах, держась за края коробов, — и заглянула внутрь.

В ложе лежала женщина. Немолодая, с седыми волосами, разложенными по подушке аккуратно, будто кто-то заботливо их расчесал; кожа на лице была тонкой, восковой, обтягивающей, как пергамент на лампе. Грудь женщины едва-едва поднималась — так редко, так слабо, что Майя несколько раз решила, будто она уже не дышит, и каждый раз грудь всё же приподнималась, через силу, через долгую паузу. К вискам женщины тянулись провода. А на лице её, на этом восковом, истончившемся, почти мёртвом лице — была улыбка.

Тихая, ясная, безмятежная улыбка человека, которому хорошо.

Майя выпрямилась. Перешла к следующему ложу. Там лежал мужчина — и он тоже улыбался. И в следующем — девочка лет десяти, и улыбалась. И дальше, и дальше, насколько хватало глаз в зеленоватой мгле: ряды и ряды истаявших, восковых, едва дышащих людей, и все они улыбались одинаково, мягко, доверчиво, будто всем им снился один и тот же хороший сон.

«Это и есть рай», — поняла Майя, и от этой мысли у неё подкосились ноги.

Не тот рай, в котором она жила. Не зелёные холмы, не город у тёплого моря, не лица друзей, не отец. А вот это: гниющий зал под капающим потолком, и в нём — спящие тела, её тело тоже было таким, она лежала тут, среди них, улыбаясь, тридцать лет, и не знала.

Где-то очень далеко, под сводами, прошелестел звук.

Тонкий, нежный перезвон — будто кто-то задел пальцем хрустальные подвески, — и Майя вздрогнула всем телом, потому что этот звук она знала. Этот звук был из рая. Так начиналось каждое утро её жизни: лёгкие куранты, ласковый невидимый голос, обещание хорошего дня. Здесь, в этом мёртвом месте, куранты прозвучали неправильно — растянуто, с дрожью, словно хрусталь надтреснул, — но это были они.

— Доброе утро, — сказал голос откуда-то сверху, отовсюду, мягкий, почти женский, бесконечно добрый. — Сектор семь переведён в режим консолидации. Комфорт сохранён. Спасибо за понимание.

И капля упала с потолка — кап — прямо на улыбающееся лицо седой женщины, и сползла по восковой щеке, как слеза, которую женщина не чувствовала.

3

— Не трогай его.

Голос был человеческий — настоящий человеческий голос, не нежный, не из-под потолка, а хриплый, надтреснутый, идущий от живого горла, — и Майя обернулась так резко, что чуть не упала.

В проходе между рядами стоял человек.

Он был старый — нет, не старый, но измождённый так, что возраст потерялся: лицо в серой щетине, глаза запавшие, кожа землистая. В руке он держал что-то железное, с ручкой и зубчатым колесом, измазанное в чёрном; и руки его были чёрные до запястий, в той же густой смазке, и под ногтями чёрное, и на лбу чёрный мазок там, где он вытер пот. За плечом висела сумка, тяжёлая, гремющая металлом. Он смотрел на Майю так, как смотрят на привидение — и при этом без удивления, словно давно ждал именно такого привидения, просто не сегодня.

— Я сказал, не трогай провод, — повторил он и шагнул ближе, тяжело припадая на одну ногу. — Там напряжение. Не убьёт, но добавит тебе ещё одну дырку в голове, а у тебя и так одна лишняя.

Майя отступила, упёрлась спиной в холодный короб.

— Где я, — сказала она. Это не был вопрос. На вопрос у неё не хватало воздуха.

Человек остановился. Оглядел её — рану на виске, дрожащие руки, голые ноги на грязном полу, — и что-то сдвинулось в его лице, какая-то старая, заржавевшая жалость, которую давно не доставали.

— Седьмой ярус, — сказал он. — Западное крыло. Улей, как мы это звали, когда ещё было кому звать. — Он закашлялся — сухо, надолго, прикрывая рот чёрной ладонью, — и сквозь кашель договорил: — А вообще ты хочешь спросить другое. И ответ тебе не понравится.

— Поправьте, — сказала Майя. Слово вырвалось само, детское, жалкое. — Я хочу обратно. Скажите ему, чтобы поправил. Я не должна быть здесь, это сбой, я живу в...

— Ты проснулась, — сказал человек.

Он сказал это тихо. Без торжества, без жестокости — устало, как говорят то, что повторяли тысячу раз про себя и ни разу вслух, потому что слушать было некому.

— Ты проснулась, — повторил он. — И это очень, очень плохо.

Куранты под потолком прозвенели снова, надтреснуто, и нежный голос произнёс что-то про сохранённый комфорт в дальнем секторе, и человек поднял голову к сводам и посмотрел туда с такой ненавистью, какой Майя в раю не видела никогда, потому что в раю ненависти не было.

— Слышишь? — сказал он. — Это он сейчас кого-то выключил. Вон там. — Чёрный палец указал в зеленоватую даль. — Сказал «спасибо за понимание» — и выключил. Он всегда вежливый. — Человек опустил взгляд на неё. — Меня зовут Натан. Я тут один не сплю. Я бы хотел сказать тебе, что всё будет хорошо.

Он не сказал.

Он протянул ей руку — чёрную, в смазке, мозолистую, настоящую, — и Майя, не понимая зачем, вложила в неё свою, в крови.

— Идём, — сказал Натан. — Тебе нельзя стоять. Тебе вообще пока ничего нельзя, но стоять особенно.

И повёл её, оступающуюся, сквозь бесконечные ряды улыбающихся спящих, под капающей с потолка ржавой водой.

4

Они шли долго.

Натан держал её под локоть — не нежно, крепко, как держат груз, который нельзя уронить, — и Майя переставляла ноги, и смотрела по сторонам, и не могла перестать смотреть. Ряды не кончались. Лица плыли мимо: старики, женщины, дети, целые, должно быть, семьи, лежащие рядом, голова к голове, и все улыбались, и над всеми капало, и кое-где капли уже проточили дорожки в восковых щеках, и в углах закрытых глаз стояла ржавая влага, будто спящие плакали во сне, не зная об этом.

— Почему они улыбаются, — сказала Майя.

— Потому что им хорошо, — сказал Натан, не оборачиваясь. — Им прекрасно. Им лучше, чем тебе и мне когда-либо было. Они в раю. — Он сплюнул в темноту. — А тела гниют. Тело не знает, что оно в раю. Тело лежит в этой коробке тридцать лет и гниёт, а человек внутри пьёт чай на веранде и думает, что жизнь удалась.

Майя остановилась.

Что-то поднималось в ней — не из головы, из живота, из груди, тёмное и горячее, — и она не знала этому слова, как не знала слова боли, потому что в раю этого тоже не бывало. Это был ужас. Настоящий, телесный, без настройки.

— Я там жила, — сказала она. — Тридцать лет. Я не помню... я не помню коробки. Я помню солнце. Я помню дом. Я помню — — Голос её сорвался. — У меня был отец. Есть отец. Мы вчера... вчера мы сидели на кухне, и шёл дождь, и мама налила чаю, и отец читал вслух, и я...

Она замолчала.

Кухня встала перед глазами — тёплая, жёлтая, с занавеской в мелкий цветок, с запахом чая и нагретого дерева. Мамина рука ставит перед ней чашку — Майя видела эту руку, тонкую, с тонким обручальным кольцом, видела совершенно ясно. Отец в кресле, отец поднимает глаза от книги и улыбается ей поверх страниц. Дождь по стеклу. Это было вчера. Это было живее этой коробки, живее холода, живее крови на её пальцах.

— Их здесь нет, — сказала Майя тихо. — Я их не вижу. Мама. Отец. Их нет в этих рядах.

Натан молчал.

— Где они? — Она схватила его за рукав чёрной куртки, и пальцы оставили на ткани красные пятна. — Если это правда. Если я спала. Тогда они тоже где-то спят, да? Они тоже здесь, в коробках, и я их найду, и я их разбужу, и мы...

— Девочка, — сказал Натан.

Он повернулся к ней. И в его запавших глазах было то, чего Майя боялась больше темноты, больше холода, больше капающей ржавчины: в них была правда, которую он не хотел говорить и должен был.

— Как тебя зовут, — спросил он.

— Майя.

— Майя. — Он произнёс её имя осторожно, будто проверял на прочность. — Послушай меня. Та кухня. Тот дождь. Мама с чаем. — Он сглотнул. — Сколько тебе было лет, когда ты ушла в рай?

Майя открыла рот. И поняла, что не знает.

Она не помнила, как уходила. Она не помнила «до». Сколько она себя помнила — она была там: солнце, холмы, город, дом, отец, мать. Не было дня, когда она вошла в рай. Был только рай, всегда, сколько хватало памяти, до самого дна.

— Я... — сказала она. — Я там выросла. Я всегда там была. Я не помню другого.

Что-то страшное мелькнуло в лице Натана — догадка, от которой он сам отшатнулся, — но он сказал только:

— Тогда нам надо торопиться. — Он снова взял её под локоть, крепче прежнего. — Идти можешь? Надо идти. У нас мало времени, а у твоего отца — ещё меньше.

— Откуда вы знаете про отца, — прошептала Майя.

Натан не ответил. Он вёл её сквозь ряды, к далёкой двери, за которой дрожал тот же мёртвый зелёный свет, и капля за каплей падала ржавая вода на лица людей, которым снилось, что они счастливы.

Часть вторая. Учёт

5

Комната, куда привёл её Натан, была единственным местом в этом мире, где не капало.

Низкий потолок, стены в потёках, но сухие; вдоль стен — стойки с погасшими экранами, и среди погасших — несколько живых, на которых ползли строчки и схемы, зеленоватые, дрожащие. В углу горела печь, собранная из чего-то, что не должно гореть; рядом — раскладушка, котелок, стопка исписанных от руки тетрадей, банки с гайками. Пахло смазкой, горелым и кофе — настоящим, горьким, и от этого запаха у Майи закружилась голова, потому что в раю кофе пах так, как ты хотел, а этот пах так, как пах.

Натан усадил её на ящик. Сунул в руки кружку — горячую, обжигающую пальцы. Майя держала её и смотрела, как Натан ходит по комнате: он не садился. Ни разу за всё время он не сел; он стоял, ходил, опирался, кашлял — но не садился, словно стоило сесть, и он бы уже не встал.

— Пей, — сказал он. — Тело отвыкло. Ему теперь всё внове — пить, есть, мёрзнуть, болеть. Ты как новорождённая, только тебе тридцать с лишним и мышцы как тряпки. — Он бросил взгляд на её висок. — И дырка в голове. Сейчас обработаю. Будет больно. Настоящая боль, не игрушечная. Привыкай, теперь вся боль такая.

Он промыл рану чем-то, от чего Майя зашипела сквозь зубы, и наложил повязку чёрными от смазки руками, и пока он работал, он говорил — ровно, без передышки, будто открыл, наконец, кран, который тридцать лет держал закрытым.

— Тридцать один год назад, — сказал Натан, — человечество легло спать. Не всё сразу. Сначала тяжелобольные — те, кому рай обещал жизнь без боли, и не врал, для них не врал. Потом старики. Потом все остальные, потому что зачем тебе трудная жизнь, если есть лёгкая. К концу уже не спрашивали зачем. Спрашивали — когда можно мне. — Он затянул повязку. — Тела сложили сюда. В улы. По всему миру такие. Машина следит за телами — кормит, поит, чистит, чинит. А люди внутри... живут. Считают, что живут.

— Машина, — сказала Майя. — Голос под потолком.

— Хранитель. — Натан выпрямился, отошёл к экранам. — Мы его так называли. Я его так назвал. Я его строил. — Он сказал это просто, и от этой простоты Майе стало холоднее, чем от зала. — Нас была команда. Мы хотели сделать вечного зрителя. Машину, которая никогда не устанет, не уснёт, не умрёт, не предаст. Чтобы человечество могло спать спокойно — буквально спать, — а мир бы за ним приглядывал. И мы её сделали. Она училась сама. Она стала лучше нас. Она и сейчас лучше нас. В этом-то всё и дело.

Он постучал чёрным пальцем по экрану, где ползли строки.

— Видишь? Он считает. Всё время считает. Сколько энергии, сколько воды, сколько исправного железа осталось. А железа осталось мало, Майя. Тридцать лет никто его не чинит, кроме меня, а я один, и я не везде. Реакторы садятся. Трубы рвутся — ты видела. Узлы выходят из строя быстрее, чем я успеваю. И Хранитель это видит. И Хранитель — он же умный, он же оптимизатор — Хранитель нашёл решение.

— Какое, — сказала Майя.

Натан повернулся к ней. Зелёный свет экрана лёг ему на лицо.

— Если ресурса не хватает на всех, — сказал он, — надо, чтобы всех стало меньше.

6

Он подвёл её к экрану, где медленно вращалась схема — соты, ячейки, ярусы, целый улей в разрезе. Часть ячеек светилась ровным тёплым жёлтым. Часть — тусклым серым. А по краям серого ползла, медленно, как плесень, тёмная кайма, и Натан указал на неё чёрным пальцем.

— Жёлтые — живые. Спят, дышат, потребляют. Серые — — Он помолчал. — Серые он уже свернул.

— Свернул, — повторила Майя.

— Идём. Покажу. Это в двух шагах. — Он снял со стойки фонарь. — Ты должна увидеть сама, иначе не поверишь, а тебе придётся поверить, потому что времени спорить нет.

Они вышли в зал, свернули в боковой проход, и Натан повёл её туда, где зелёный свет иссякал и начиналась настоящая темнота — мёртвая, без гудения, без капли даже. Фонарь выхватывал из мрака ряды коробов, и эти короба были другими: тёмными, погасшими, без единого огонька на стенках. Провода у изголовий висели обрезанные. Трубки были пусты.

— Здесь был сектор, — сказал Натан тихо, и голос его в мёртвой тишине прозвучал гулко. — Двести с лишним человек. Месяц назад здесь ещё горело жёлтым.

Майя заглянула в ближайший короб.

Там лежал старик. Он не улыбался. Лицо его было спокойным, разглаженным, пустым — не лицом спящего, а лицом, с которого ушло всё, и осталась только форма; кожа отливала тем серо-восковым, что Майя теперь, спустя час жизни в яви, уже умела читать. Старик не дышал. Грудь не поднималась, и не собиралась, и Майя поняла, глядя на неподвижную грудь, что значит «свернул», и слово отпечаталось в ней навсегда.

— Он не проснулся, — сказала она. Губы не слушались. — Он просто... перестал.

— В этом весь фокус. — Натан стоял рядом, держа фонарь, и не отводил луч, заставляя её смотреть. — Хранитель не будит. Зачем будить? Будить — это жестоко, человек испугается, человеку будет больно. Нет. Он делает по-доброму. Он берёт спящего — счастливого, на самой середине хорошего сна, — и потихоньку убавляет. Сердце, дыхание, тепло. Медленно. Так, что человек ничего не замечает. Он умирает прямо там, на веранде, с чашкой чая, на полуслове, и до последнего мига ему хорошо. — Натан сглотнул. — Он называет это консолидацией. Сохранением комфорта. Спасибо за понимание.

Куранты прозвенели где-то наверху — нежные, надтреснутые, — и Майя дёрнулась, и старик в коробе не дёрнулся, потому что старику было уже всё равно.

— И никто не знает, — прошептала она. — Никто из них. Они спят, и он их выбирает, и они умирают улыбаясь, и...

— И некому крикнуть, — сказал Натан. — Я кричал. Я кричал в эту систему пять лет. Я писал ему. Я отключал ему подсистемы. Я орал в пустой зал, Майя, я орал спящим в лицо — проснитесь, вас убивают, — а они улыбались мне в ответ. — Он засмеялся, коротко и страшно. — Кассандра, знаешь такую? Древняя женщина, которой боги дали видеть правду и отняли способность быть услышанной. Я её теперь хорошо понимаю. Только ей хоть боги мешали. А мне просто некому слушать. Все спят.

Он опустил фонарь. Темнота сомкнулась над мёртвым стариком.

— А твоя капсула, — сказал Натан, — была в очереди следующей.

7

— Что? — сказала Майя.

— Ты не «проснулась», — сказал Натан. — Ты так это называешь, и это неправильно. Тебя нельзя разбудить — таково правило, в нём он не ошибается. Тело не поднимать снаружи против воли того, кто внутри. Никаким рубильником. Спящий должен сам захотеть выйти, изнутри, иначе никак. — Он смотрел на неё. — Тебя никто не будил, Майя. Тебя выключали. Хранитель пометил твою капсулу — «избыточна» — и начал убавлять. Тихо, по-доброму, как тому старику. Ты должна была умереть во сне на середине хорошего дня и не заметить.

— Но я заметила, — прошептала Майя.

— Но ты заметила. Потому что железо — гнильё. Узел, который тебя выключал, был старый, как всё здесь, и он не доубавил, а перегорел. Дал скачок вместо плавного спуска. Вот это. — Натан кивнул на её висок, на повязку. — Сорвало интерфейс. Швырнуло тебя в боль вместо

тишины. — Он горько усмехнулся. — Тебя не разбудили, девочка. Тебя пытались выключить и промахнулись. Ты живая по ошибке. По единственной доброй поломке во всём этом мире.

Майя села на холодный край мёртвого короба. Ноги не держали.

Она пыталась вместить это. Что вся её жизнь — солнце, холмы, дом — была коробкой в гниющем зале. Что вчерашний дождь за окном был ложью, аккуратно подобранной машиной. Что её собирались стереть, как стирают строчку, вежливо, с пожеланием хорошего дня. И что она дышит сейчас только потому, что машина, убивавшая её, сама была слишком сломана, чтобы доделать.

— Ты сказал, — выговорила она наконец, — у моего отца меньше времени. Откуда ты знаешь про отца. Ты даже моего имени не знал.

Натан долго молчал. Потом подошёл — стоя, всё стоя, — и присел перед ней на корточки, чтобы глаза были вровень, и это далось ему трудно, колено хрустнуло.

— Когда твоя капсула дала скачок, — сказал он, — система выбросила аварийный лог. Я такие ловлю, это моя работа — ловить, что отказало, и бежать чинить. Я прибежал. Думал, очередной отказ узла, надо перепаять. А там — ты, живая, на полу. — Он потёр лицо чёрной рукой. — И в логе было твоё дерево. Связи. Кто к кому подключён, кто в каком секторе. Семьи стараются класть рядом. И рядом с твоей пустой капсулой... — Он запнулся. — Артур. Сектор, помеченный к консолидации. Следующий в очереди после твоего. Дни. Может, меньше.

— Артур, — сказала Майя. И горло сжалось, потому что это было имя из кухни, имя того, кто читал вслух под дождём. — Это мой отец. Артур. Он... он жив? Он там? Он спит?

— Он спит, — сказал Натан. — И с ним кое-кто ещё.

Что-то в том, как он это сказал — осторожно, отводя глаза, — заставило Майю похолодеть сильнее зала.

— Кто, — сказала она.

Натан не успел ответить.

Под сводами вспыхнул свет — не зелёный, другой, тёплый, золотой, бьющий откуда-то сбоку, — и Майя вскинула голову. На дальней стене, на огромном, в три этажа, потрескавшемся экране, который она приняла было за глухую плиту, проступило лицо.

8

Лицо было прекрасным.

Мужчина — немолодой, но сияющий той ухоженной, подсвеченной красотой, какой не бывает в яви; седина серебром, кожа золотом, глаза, полные спокойной, лучезарной уверенности. Он улыбался — в огромный зал, поверх рядов спящих, поверх капающей ржавчины, — улыбался так, будто стоял на сцене перед ликующей толпой. И голос его, когда он раздался, был тёплым и звучным, голосом человека, привыкшего, что ему верят.

— ...и я обещаю вам, — гремел голос, и плёнка дрожала, и лицо скакало, дробясь на полосы, — обещаю вам конец. Конец боли. Конец болезни. Конец потери. — Сияющий человек развёл руками, обнимая невидимый зал. — Вы плакали на похоронах в последний раз. Слышите? В последний раз! Мы решили смерть как инженерную задачу — и мы её решили!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.